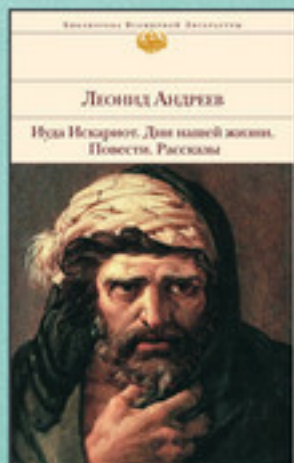


Леонид Андреев

Призраки



*Часть сборника
Иуда Искариот. Дни нашей
жизни. Повести. Рассказы*



Леонид Андреев

Призраки

«Public Domain»

1904

Андреев Л. Н.

Призраки / Л. Н. Андреев — «Public Domain», 1904

«Когда окончательно выяснилось, что Егор Тимофеевич Померанцев, столоничальник губернского присутствия, действительно сошел с ума, его дальние родственники собрали между собою и у богатых людей денег и отдали его в частную психиатрическую лечебницу. Хотя до полной пенсии оставалось еще около десяти лет, начальство, снисходя к его болезни и двадцатипятилетней беспорочной службе, назначило ему пенсию, и таким образом он оказался хорошо устроенным до самой смерти, так как на излечение почти никаких надежд не было. В начале болезни Егора Тимофеевича жена его, – с которой он уже не жил лет пятнадцать, обнаружила притязание на пенсию и присылала адвоката, но ее удалось отстранить, и деньги остались за больным...»

© Андреев Л. Н., 1904

© Public Domain, 1904

Содержание

I	5
II	7
III	10
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Леонид Николаевич Андреев

Призраки

I

Когда окончательно выяснилось, что Егор Тимофеевич Померанцев, столоничальник губернского присутствия, действительно сошел с ума, его дальние родственники собрали между собою и у богатых людей денег и отдали его в частную психиатрическую лечебницу. Хотя до полной пенсии оставалось еще около десяти лет, начальство, снисходя к его болезни и двадцатипятилетней беспорочной службе, назначило ему пенсию, и таким образом он оказался хорошо устроенным до самой смерти, так как на излечение почти никаких надежд не было. В начале болезни Егора Тимофеевича жена его, – с которой он уже не жил лет пятнадцать, обнаружила притязание на пенсию и присылала адвоката, но ее удалось отстранить, и деньги остались за больным.

Лечебница находилась за городом и снаружи, со стороны шоссеной дороги походила на обыкновенную дачу, приткнувшуюся к опушке небольшого смешанного леса. Над среднюю часть дома выступал мезонин, как во всех дачах, с очень высокою и острою крышею, напоминавшей опрокинутый дровяной топор, и с резным шпилем, на который в праздники вывешивали красный флаг для удовольствия больных. В тихие безветренные утра, ранней весной или осенью, со стороны города приносился звон церковей и мягкий гул езды, а в остальное время было тихо – тише, чем в самой деревне, где лают собаки, поют петухи и кричат дети. Тут не было ни детей, ни собак, которых заменял высокий глухой забор; кругом расстилался выгон, принадлежавший лечебнице и поэтому всегда безлюдный, и только в версте среди деревьев поднималась узкая железная труба какой-то фабрики. Она никогда не дымила, и, сама невидимая в лесу и молчаливая, фабрика казалась покинутой.

Только немногие из проезжих по шоссе знали, что за высоким плоским забором, с плотно запертыми воротами, находятся сумасшедшие, а остальные – мужики на подскакивающих пылящих телегах, редкие городские извозчики, велосипедисты, вечно куда-то торопящиеся на своих бесшумных машинах, – привыкли к глухому забору и не замечали его. Если бы все находящиеся за ним разбежались или внезапно умерли, то, вероятно, очень долго никто бы этого не заметил, – все так же спокойно проезжали бы попыливающие телеги и вечно торопящиеся велосипедисты. Буйных сумасшедших доктор Шевырев в свою больницу не принимал, и от этого там было очень тихо, как во всяком приличном доме, где живут хорошо воспитанные и сдержанные люди. Единственный звук, который раздавался в больнице непрерывно и днем и ночью в течение уже десяти лет, с самого основания больницы, был так правилен, негромок и ровен, что его не слышали и не замечали, как не замечают люди тиканья часового маятника или биения своего сердца. Это стучал в свою дверь больной, запертый в комнате; где бы он ни находился, он отыскивал запертую или только притворенную дверь и начинал стучать в нее; если дверь открывали, он находил другую запертую дверь и снова стучал – он хотел, чтобы все двери были открыты. И стучал дни и ночи, коченея от усталости. Вероятно, силою своей безумной мечты он научился стучать и в то время, когда спал, – иначе он умер бы от бессонницы; но спящим его не видели, и стук никогда не прерывался.

И тихо было. И только изредка, большею частью в ночь, когда невидимый лес шумел от ветра, с кем-нибудь из больных делался припадок острой тоски, и он начинал кричать. Обыкновенно его очень быстро успокаивали, но случалось, что страх и тоска его были очень велики и не поддавались ни уговорам, ни лекарству, и он продолжал кричать. Тогда тревога передавалась всему населению разбуженного дома, и все больные, точно заведенные куклы,

которых сразу пустили в ход, начинали беспокойно расхаживать по своим комнатам, размахивать руками и громко болтать всякий вздор. И все, даже самые тихие, стучали неистово в двери и просили их куда-то выпустить. В этих случаях фельдшер вызывал по телефону доктора из «Вавилона», загородного ресторана, где Шевырев проводил свои ночи, и тот одним своим появлением успокаивал больных. Но долго еще за одинаковыми дверьми не замирала бессвязная болтовня, как в разбуженном птичнике, куда заглянул остромордый хорек.

Но это бывало редко, и ночью по шоссе почти никто не проезжал. Да и крик, смягченный стенами и расстоянием, был похож на самый обыкновенный крик разгулявшихся людей, тем более что среди больных были такие, которые при всяком беспокойстве пели.

II

Егору Тимофеевичу отвели комнату с высоким потолком и окном прямо в лес, так что в летние дни, когда окно было открыто, и прохладную комнату наполнял аромат березы и сосны, а на столе красовался кувшинчик с цветами, было действительно похоже на дачу. На бревенчатых стенах Егор Тимофеевич развесил картинки, которые привез с собою, и большой фотографический портрет сына, умершего еще ребенком от дифтерита, и тогда комната приняла совсем уютный, даже праздничный вид. А картинки были такие: девушка с гусями на лугу, ангел, благословляющий город, и мальчик-итальянец. Егор Тимофеевич был так доволен своей комнатой, что приводил всех больных смотреть ее и с доктором Шевыревым разговаривал не иначе как у себя. Если кто-нибудь – доктор или больные – отказывался идти к нему, он прибегал к хитрости: уверял, что у него есть там соловей, который прекрасно поет. Потом и он, и заманутые больные, и, видимо, сам доктор забывали о соловье и просто сидели так и разговаривали или рассматривали картинную галерею. Больным также очень нравилась комната Померанцева, и когда они начинали расхваливать свое заведение, то обязательно ссылались на нее.

И с самого начала Егор Тимофеевич знал, что он в сумасшедшем доме, но не придавал этому никакого значения, так как был уверен, что, по желанию, может делаться бесплотным и тогда может летать и ходить по всему миру. И первые дни он каждое утро летал на службу в губернское присутствие, но потом отвлекался более важными занятиями. Был он высокого роста, худощавый, с очень еще черными вихрастыми волосами, добродушно торчавшими в разные стороны, и такой же бородой. Носил очень сильные очки, и когда смеялся, то открывал десны, отчего казалось, что смеется он весь, снаружи и с изнанки, и что даже волосы его смеются. И смеялся часто. Голос у него был низкий, клокочущий бас, производивший такое впечатление, будто на нем постоянно кто-то сидит и подпрыгивает, а при сильном смехе переходил в высокий тенор.

Очень быстро он перезнакомился со всеми больными и занял среди них видное и вполне определенное положение покровителя. Ему всегда грезилось, что он представляет собою что-то высокое, но вполне точного представления не было, и поэтому он постоянно менялся: то чувствовал себя графом Альмавива, то советником губернского правления, то святым, чудотворцем и благодетелем людей. Но чувство страшной силы, безграничного могущества и благородства никогда не покидало его и делало его в отношениях к людям очень сострадательным и лишь в редких случаях заносчивым и суровым. Последнее случалось, когда вместо Георгия его называли Егором. Он возмущался до слез, кричал, что под него подкапываются, и писал обстоятельные жалобы в святой синод и капитул ордена Георгиевских кавалеров. Доктор Шевырев немедленно присылал формальный ответ, что жалоба Егора Тимофеевича уважена, и он совершенно успокаивался и даже слегка подшучивал над доктором и его испугом при получении казенной бумаги.

– А я сам таких бумаг писал в день по сотне, – говорил он и смеялся. – И если захочу, то сейчас могу написать.

С этого «Георгия» и началось явное его сумасшествие, как сообщили доктору родственники больного.

Больных в лечебнице было немного: одиннадцать мужчин и три дамы. Все они одевались, как прежде дома, в обыкновенное платье, и только очень внимательный взгляд мог заметить неуловимый налет неряшливости и беспорядка, которого, при всех усилиях, не мог устранить доктор Шевырев. И волосы у них были, как следует, и только одна дама, желавшая ходить с распущенными волосами, производила несколько странное впечатление, да больной Петров имел огромную дикую бороду и поповскую гриву: он боялся бритвы и ножниц и не позволял

стричь себя из опасения, что его зарежут. Зимой больные сами устраивали каток, катались на коньках и на лыжах, а весной и летом занимались огородом и цветами и были похожи на самых обыкновенных здоровых людей. Во всех этих занятиях Егор Тимофеевич был первым, и только трое не принимали никакого участия ни в деле, ни в забавах: тот Петров с дикой бородой, больной, который стучит, и пожилая сорокалетняя девушка, Анфиса Андреевна. Она много лет служила экономкой у своей дальней родственницы – графини, и как-то так случилось, что для спанья ей дали очень короткую, почти детскую кровать, на которой она не могла вытянуть ног. И когда она сошла с ума, ей стало казаться, что ноги согнулись у нее навсегда и она не может на них ходить. И постоянно ее мучила мысль, что после смерти ей купят очень короткий гроб, в котором нельзя будет протянуть ног. Была она очень скромная, тихая, с бескровным красивым лицом, какое рисуют у монахинь или святых, и когда говорила, то всегда поправляла длинными белыми пальцами разорванные кружева на груди. Денег на ее содержание выдавалось немного, и носила она старые, странные платья, давно вышедшие из моды.

В Егора Тимофеевича она верила и убедительно просила его позаботиться о гробе.

– Конечно, и доктор обещал, но кто ж их знает. Они на то и поставлены, чтобы говорить нам неправду. А вы – дело другое, вы свой человек. Да и дело-то в пустяках: длинный гроб будет стоить на три рубля дороже короткого – я уже составила расцетик. Главное, чтобы кто-нибудь позаботился. Вы обещаете?

– Непременно, сударыня, непременно. Я устрою подписку среди больных и сделаю вам склеп.

– Вот это хорошо. Склеп – это совсем хорошо. Благодарю вас, Георгий Тимофеевич.

И бескровное лицо ее слегка розовело, как молочное облако на восходе, когда коснется его первый солнечный луч. В бога Анфиса Андреевна давно не верила и на именины графа, когда в дом были приглашены иконы, совершила над одной из них страшное кощунство. Тогда и обнаружилось ее сумасшествие.

Во время прогулок, которые для всех больных были обязательны, Петров держался в стороне, так как боялся внезапного нападения, и летом держал в кармане камень, а зимой – кусок льда или сдавленного снега; в стороне от других находился и тот больной, что стучит. Быстро пройдя все отпертые двери, он останавливался у калитки и начинал стучать – неторопливо, настойчиво, с равномерными промежутками. Вначале, когда он еще только попал в больницу, все суставы его нежных и белых пальцев были покрыты струпьями и свежими ссадинами; но постепенно пальцы загрубели, а на сгибах образовались большие твердые наросты, и стук от них получался твердый, сухой, как от камня.

Каждый раз Егор Тимофеевич считал своим долгом поговорить с ним.

– Доброе утро, милостивый государь. А вы все стучите?

– Стучу, – тихо отвечал больной, переводя на Егора Тимофеевича большие, печальные и странно глубокие глаза.

– И не отворяют?

– Нет, не отворяют, – так же тихо отвечал больной.

Голос у него был бледный, тихий, как эхо, но такой же странно глубокий, как глаза.

– Дайте-ка я открою, – говорил Егор Тимофеевич и начинал дергать засов и ковырял пальцем в замочной скважине. Но дверь не поддавалась, и тогда он предлагал другое. – Вот что, милостивый государь, я придумал: вы отдохните, а я постучу.

И несколько минут он добросовестно и громко барабанил кулаком в дверь, а больной отдыхал: тихонько поглаживал пальцы и, прищурившись, удивленно-равнодушными глазами обводил небо, сад, больницу, больных. Был он высокий, красивый и все еще сильный; ветерок слегка раздувал его седеющую бороду – точно сугробы наметал на красивое, строго-печальное лицо.

Однажды к нему подкрался Петров и шепотом спросил:

- Там кто-нибудь есть? Кто там?
- Нужно, чтобы было открыто.
- Как это глупо. А если она войдет?
- Нужно, чтобы было открыто.
- Как вас зовут?
- Не знаю.

Петров недоверчиво засмеялся и, крепко сжимая в кармане ледяшку, осторожно вернулся на свое место за дерево, где он был в сравнительной безопасности от внезапного нападения.

Вообще больные охотно и много разговаривали, но после первых же слов переставали слушать друг друга и говорили только свое. И от этого беседа их никогда не утрачивала жгучего интереса. И каждый день то возле одного, то возле другого сидел доктор Шевырев и внимательно слушал, и казалось, что сам он много говорит, но на самом деле он постоянно молчал. Каждую ночь, с десяти вечера до шести часов утра, он проводил в загородном ресторане «Вавилон», и было непонятно, когда он успевает спать и так внимательно заниматься собою, чтобы быть всегда хорошо одетым, чисто выбритым и даже слегка надушенным.

III

У Егора Тимофеевича случались сильные головные боли, и ему поставили на затылок мушку. Когда ее сдирали, он кричал от боли и ругался, а потом повертел головою, засмеялся и сказал:

– Хорошо. Освежает, знаете ли. Очень хорошо. Вы неоцененный человек, Николай Николаевич!

И всегда и всем он был очень доволен. Кроме сумасшествия, у него был катар желудка, подагра и много других болезней; ему приходилось назначать диету и держать впроголодь, но он ел и не ел с одинаковым удовольствием, гордился своими болезнями, а за подагру даже благодарил доктора Шевырева и весь тот день громко покрикивал на больных, строивших снежную гору: ему смутно представлялось, что он генерал, назначенный наблюдать за постройкою грозной крепости. И всегда, что бы ни случилось, он находил, что это к лучшему. Однажды зимою в трубе загорелась сажа, и была опасность, что вспыхнет дом, и все больные и здоровые были по-своему перепуганы. Один только Егор Тимофеевич остался доволен: по его мнению, вместе с сажей должна была выгореть нечистая сила, которая ютится в трубе и по ночам воеет. И когда в трубе действительно почему-то перестало выть, он написал донесение в святой синод и получил благодарственный ответ. По-прежнему он изредка летал на службу в губернское присутствие, но большею частью занимался другим: по ночам к нему приходил Николай-чудотворец, и они вместе облетали все столичные больницы и исцеляли больных.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.